

Часы пробили шесть. Графиня де Бремонталь отвела глаза от книги, которую она читала, и взглянула на красивые часы в стиле Людовика XVI, висевшие на стене. Потом она окинула медленным взглядом свою большую гостиную, несколько темную, хотя в ней горели четыре лампы: две на столе, на котором разбросано было много книг, и две на камине. Огонь, пылавший в камине, настоящий деревенский огонь, настоящий огонь дворянского замка, бросал яркие отблески на стены, освещая фигуры людей на гобеленах, позолоченные рамы, фамильные портреты и темно-красные драпировки, которыми были занавешены окна. Но несмотря на весь этот свет, большая комната казалась мрачной, холодной, как будто и на ней лежала печать зимы. Чувствовалось, что за окнами, где земля была покрыта снежной пеленой, дул резкий, ледяной ветер, от которого трещали старые деревья парка.

Графиня поднялась, медленной, усталой походкой беременной женщины подошла к камину, села и протянула ноги к огню. Жар от пылающих в камине поленьев охватил ее лицо, создавая ощущение горячей и в то же время грубой ласки, тогда как ее спина, плечи и затылок еще вздрагивали от мертвящего холода зимы, той ужасной зимы^[1], которая нависла над Францией. Холод пронизывал ее всю, заполняя и душу и тело, и к этому физическому томлению присоединялась тоска при мысли об ужасной катастрофе, обрушившейся на родину.

Нервная, истерзанная заботами, охваченная ужасным предчувствием, г-жа де Бремонталь снова встала. Где он сейчас, ее муж, от которого она уже пять месяцев не имела никаких известий? В плену у пруссаков или убит? Замучен в неприятельской крепости или зарыт в яме на поле битвы вместе со многими другими трупами, разлагающаяся плоть и кости которых перемешались вместе?

О, какой ужас! Какой ужас!

Она ходила теперь взад и вперед по большому безмолвному залу. Пушистые ковры заглушали шум ее шагов. Никогда еще не чувствовала она такого гнета, тоски и отчаяния. Что еще может случиться? О, эта ужасная зима, зима, предвещающая конец света, разорившая целую страну, убивающая взрослых сыновей, последнюю надежду и поддержку несчастных матерей, отнимающая отцов у беспомощных детей, мужей у молодых жен! Она видела всех их умирающими, изуродованными ружейной пулей, саблей, пушечным ядром, придавленными конской подковой и погребенными в одну из таких же, как эта, ночей под снежным саваном, запятнанным кровью.

Она почувствовала, что сейчас заплачет, закричит, подавленная страхом перед неизвестным будущим, и снова взглянула на часы. Нет, она не в силах больше ждать в одиночестве, пока приедут отец, сельский кюре и доктор, которые должны были у нее обедать. Но удастся ли им вообще выйти из дома и добраться до замка? Особенно беспокоилась она об отце. Ему предстояло проехать в карете несколько километров по берегу Сены. Кучер, опытный и старый, хорошо знал дорогу, знала ее и лошадь; но эта ночь, казалось, сулила несчастья.

Двое других приглашенных, кстати сказать, бывавшие у нее почти каждый вечер, должны были переправиться на лодке через реку. Это было еще хуже. Хотя вода здесь никогда не замерзала, потому что сюда доходил морской прилив, которому ничто не может сопротивляться, но громадные глыбы льда, приносимые течением сверху, могли опрокинуть лодку перевозчика.

Графиня вернулась к камину и потянула за шнурок звонка.

Появился старый слуга.

— Что, маленький еще не спит? — спросила она.

— Думаю, что нет, госпожа графиня.

— Скажите Аннетте, чтобы она привела его ко мне, я хочу поцеловать его.

— Сейчас, госпожа графиня!

Слуга уже уходил, когда она снова позвала его:

— Пьер!

— Что изволите, госпожа графиня?

— Как вы думаете, не опасно господину Бутмару ехать берегом реки по такой погоде?

Старый нормандец ответил:

— Нисколько, госпожа графиня! Кучер Филипп и его лошадь Барб очень смиренного нрава и хорошо знают дорогу, будьте уверены.

Успокоившись за отца, она спросила:

— А удастся ли господину кюре и доктору Патюрелю благополучно переправиться из Ла-Буйя через реку? Ведь сейчас там идет лед.

— Ну, конечно, госпожа графиня. Старик Пишар так ловок, что ему не страшен никакой ледоход. Кроме того, у него есть большая зимняя лодка, в которой он, когда нужно, переправляет даже корову или лошадь.

— Хорошо, — сказала она, — пришлите же ко мне маленького Анри.

Она села к столу и открыла книгу.

Это были Размышления Ламартина[2], и случайно глаза ее упали на последние стихи Праздника у Терезы:

Все стихло, пала ночь; огни пылать кончали;

Во тьме дубрав ручьи уныло зароптали;

И где-то, схоронясь среди густых ветвей,

Любовник и поэт, залился соловей.

Рассыпалась толпа под пышною листвою,

Шалунья скромника, смеясь, влечет с собою;

Возлюбленную в тень влюбленный уведен.

И в смутном забытьи, напоминавшем сон,

Они следили, как, приливом постепенным,

С их тайным говором, со взором их блаженным,

С их сердцем, чувствами, с их гаснущим умом

Сливался лунный свет, рассеянный кругом.

Сердце графини сжалось при мысли о том, что существуют ночи, как в этих стихах, и такие, как сегодня. Почему такие контрасты: эта чарующая нежность — и эта жестокость природы?

Дверь открылась; она встала. Молодая няня, красивая, свежая нормандка, вошла в комнату, держа за руку маленького четырехлетнего мальчика. Свет от лампы падал на белокурые вьющиеся волосы, которые обрамляли его личико светлым ореолом.

— Оставьте его здесь, у меня, до приезда гостей, — сказала графиня.

Когда няня вышла, она посадила ребенка к себе на колени и посмотрела ему в глаза. Они улыбались друг другу той единственной, неповторимой улыбкой, которой обмениваются мать и дитя, улыбкой любви, вечной, ни с чем не сравнимой и не имеющей себе соперников.

Потом она обняла мальчика и поцеловала в головку. Она целовала волосы, веки, рот, дрожа от затылка до пят той восхитительной дрожью счастья, какую испытывают всеми фибрами своего существа настоящие матери. Затем она стала баюкать его, а он обнял ее за шею и спросил своим тоненьким голоском:

— Мама, скажи, скоро вернется папа?

Она схватила его и прижала к себе, как бы желая защитить, оградить от далекой, но чудовищной опасности войны, которая в будущем могла потребовать и его.

И она прошептала, снова целуя ребенка:

— Да, дорогой мой, скоро. О мой мальчик, какое счастье, что ты еще совсем маленький! Они не могут взять тебя, негодяи!

О каких негодях говорила она? Она и сама не знала.

Но вот мальчик своим чутким слухом уловил доносившийся издали в тишине ночи слабый звук колокольчика.

— Вот и дедушка! — сказал он.

— Где ты видишь дедушку? — спросила мать.

— Это бубенчики его лошадки.

Она тоже услышала звон, и когда на душе стало одной заботой меньше, она как будто сразу успокоилась и с облегчением вытянула ноги.

Теперь они оба прислушивались ко все более отчетливому позвякиванию колокольчика и ударам хлыста, раздававшимся в морозном воздухе и предвещавшим прибытие гостей.

Минуту спустя дверь отворилась и вошел пожилой, хорошо сохранившийся мужчина, холеный, со свежим цветом лица и белыми бакенбардами, блестящими, как серебро.

Высокий, довольно полный, он имел вид баловня судьбы, и его все еще называли красавцем Бутмаром. Это был типичный коммерсант, нормандский промышленник, наживший большое состояние. Ничто не могло нарушить его хорошего настроения, непоколебимого хладнокровия, абсолютной веры в себя. С начала войны только одно глубоко огорчало его: перестали дымить четыре трубы двух так обогативших его химических заводов. Вначале он верил в победу с той крепкой и хвастливой убежденностью шовиниста, которой был проникнут каждый французский буржуа до рокового 1870 года. Теперь же, во время кровавых поражений, разгромов и отступлений, он

повторял с непоколебимой уверенностью человека, которому неизменно сопутствовала удача во всех его начинаниях:

— Да, это тяжелое испытание, но Франция воспрянет снова.

Дочь устремилась ему навстречу с расprostертыми объятиями, а маленький Анри схватил его за руку. Они долго целовались.

— Есть ли какие-нибудь новости? — спросила она.

— Есть. Говорят, что пруссаки заняли сегодня Руан. Армия генерала Бриана отступила на Гавр по левому берегу. Она должна быть теперь в Понт-Одемере. Шаланды и пароходы ждут прибытия армии в Гонфлёре, чтобы переправить ее в Гавр.

Графиня вздрогнула. Как? ПруссакИ так близко, в Руане, всего в нескольких милях от них? И она прошептала:

— Тогда нам грозит большая опасность, отец.

Он ответил:

— Конечно, мы не совсем в безопасности, но им дан приказ относиться с уважением к мирным жителям и к тем домам, в которых остались хозяева. Не будь этого приказа, который они всегда соблюдают, я бы переехал сюда. Но в таком старике, как я, тебе мало проку, а мне, может быть, удастся спасти свои заводы. Застанут они меня здесь или нет, мы все равно не можем сопротивляться и протестовать, а потому рискованно покинуть Дьепдадь и переехать сюда.

Она пробормотала, испуганная, растерянная:

— Но ведь я одна в этом замке. Я потеряю голову среди этих дикарей!

Поняв, что действительно невозможно оставить дочь одну перед этой ужасной непосредственной угрозой, — эта мысль пришла ему в голову впервые и ошеломила его, — он ответил:

— Ты права! Но сегодня вечером еще нет опасности, — не рискнут же они в ночь своего прибытия отправиться дальше по незнакомым местам! Я вернусь в Дьепдадь, сделаю необходимые распоряжения, а завтра приеду сюда ночевать и останусь с тобой до конца оккупации.

Она поцеловала его. Тонким чутьем женщины, хорошо знающей его, она поняла, какую огромную жертву он ей приносил, покидая свои заводы, и сказала:

— Спасибо, отец!

Няня Аннетта пришла за ребенком. Взгляд, который г-н Бутмар бросил на нее, и тот, более скромный, еле заметный, которым ответила ему лукавая нормандка, вызвали легкую краску на бледных щеках графини, так как она начала замечать внимание отца к служанке и молчаливое согласие последней.

После смерти жены, умершей девять лет тому назад, г-н Бутмар никогда не покидал Дьепдадь и свои химические заводы, но у него было немало любовных интрижек в окрестностях. Эти случайно обнаруженные связи доказывали его нетребовательность, вульгарный вкус, и г-жа де Бремонталь страдала, оскорбленная в своей дочерней гордости и в том аристократическом тщеславии, которое появилось у нее с тех пор, как она стала графиней и владелицей замка.

Маленький Анри, простившись с матерью и бабушкой, ушел, посылая им воздушные поцелуи.

Не успел он выйти, как послышался звонок у входной двери, возвещавший о прибытии двух других приглашенных. Первым вошел аббат Марво, высокий, худой, совершенно прямой, с глубокими морщинами на лбу и щеках. Нетрудно было видеть и догадаться, что этот человек много страдал, что у него была душа скорбного мыслителя и это еще с молодых лет наложило на его черты печать усталости.

Дворянин по происхождению — его фамилия была де Марво, — он был дальним, очень дальним родственником Бремонталей. Он начал свою жизнь с военной службы — из желания хоть чем-нибудь заняться, но также и из потребности живой деятельности, борьбы и смутного стремления к героизму, которое он в себе ощущал. Образованный, начитанный, он скоро почувствовал скуку и праздность гарнизонной жизни и с радостью принял участие в итальянской кампании 1859 года[3]. Он храбро сражался в нескольких битвах, но благодаря странному повороту мыслей, одной из тех причудливых аномалий, которые иногда пробуждают в человеке самые противоположные и противоречивые инстинкты, зрелище этой резни, этих людских стад, истерзанных картечью, вскоре внушило ему отвращение и ненависть к войне. Все же его отличили, он был награжден орденом и получил чин капитана. Но как только кончилась война, он подал в отставку.

После нескольких лет свободной жизни, посвященной любимому им умственному труду — науке, чтению и изданию брошюр, — он встретил молодую вдову, полюбил ее и женился. У него родилась дочь; потом в течение одной недели мать и дочь умерли от тифозной горячки.

Что произошло с ним тогда? Что за странный мистицизм пробудился в нем после этого ужасного события? Он вступил в монашеский орден и сделался священником. Но с того момента, как он надел на себя черную сутану, он никогда больше не носил красной ленточки, заслуженной на поле битвы, и называл ее своим кровавым пятном.

Он бы мог и на этом новом, духовном поприще сделать отличную карьеру, но предпочел остаться сельским кюре у себя на родине. Возможно также, что независимость его характера, его смелые речи вызывали недоверие к нему в епархии. Ведь он, уже несколько раз участвуя в теологических и догматических спорах с епископом, возражал ему, и так как обладал большой эрудицией и красноречием, то

выходил из этой борьбы победителем.

Лишенный тщеславия, отрешившийся от всего, он или смирился, или решил добровольно поселиться в этой прекрасной местности, которую обожал. Имея небольшое состояние, он делал много добра. Его любили и уважали. Он был священником великодушным, отзывчивым на все нужды. Народная любовь оберегала и защищала его от растущих подозрений и недоброжелательства со стороны начальства.

Доктор Патюрель, вошедший вслед за ним, человек невысокого роста, с брюшком, был бы совершенно лыс, если бы не две вьющиеся белые полосы у висков, похожие на пуховки.

Когда они вошли, слуга доложил, что обед подан, и графиня де Бремонталь, взяв врача под руку, прошла в столовую.

Едва усевшись перед тарелкой супа, священник сказал:

— Вы знаете, что они в Руане?

Послышались тихие «да». А г-н Бутмар спросил:

— У вас есть какие-нибудь новости?

— Немного. Три корпуса захватчиков появились одновременно у трех ворот города, и почти в ту же минуту на городской площади встретились их авангарды.

Доктор прибавил:

— Я был вчера в Бур-Ашаре и видел отступающую французскую армию.

И они стали обсуждать вполголоса различные подробности, как бы уже чувствуя возле себя грозное присутствие победителей.

— Сегодня, — сказал священник, — я в первый раз с тех пор, как покинул армию, жалею, что я больше не солдат.

Молодую женщину охватила тревога.

— Как вы думаете, они придут сюда?

Аббат Марво подтвердил это предположение и спросил:

— От вашего мужа, графиня, по-прежнему нет вестей?

— Да, господин кюре, — сказала она с отчаянием в голосе.

Но Бутмар, убежденный в том, что все, касающееся его, должно непременно кончиться благополучно, прибавил:

— Да он в плену. Вернется после войны.

Графиня прошептала:

— В плену или... убит.

Ее отец, которого раздражали грустные настроения, сделал нетерпеливый жест.

— Зачем такие предположения? Ты все время живешь в ожидании несчастья, как будто только оно одно и существует на свете.

Аббат Марво тихо сказал:

— Да, пожалуй, другого-то ничего и нет, сударь, если хорошенько вдуматься. Вспомните, что переживает сейчас Франция!

Бутмар не согласился с этим:

— Да нет же, нет! Возьмите меня: я никогда не был несчастлив.

— Это потому, — сказала печально дочь, — что ты ничего не хотел и не искал, кроме богатства, а оно у тебя есть.

Отец засмеялся:

— Черт возьми! Да ведь у кого богатство, у того все. Остальное пустяки. В данном же случае несомненно, что списки убитых уже повсюду составлены и семьи оповещены. Что касается пленных, то о них действительно ничего не известно.

Она вздохнула:

— Есть еще и без вести пропавшие...

Бутмар подал удачную реплику:

— Ну, это мертвецы, которые завтра воскреснут.

Доктор вмешался в разговор:

— А мне повезло: я узнал, где мой сын. Он в армии Федерба, и мы переписываемся. Какое счастье для меня, что он получил докторский диплом до войны: врачам в армии особенно бояться нечего. Но все это не мешает моей жене ужасно беспокоиться, она так любит своего Жюля!

И он начал расхваливать сына, который в Париже делал такие блестящие успехи в медицинских науках, что после присуждения ему докторского звания все учителя стали убеждать его добиваться профессуры. Кто-кто, а его мальчик не закиснет в провинции. Он будет крупным врачом, крупным столичным врачом.

Разговор вяло переходил с одной темы на другую; собеседников как бы парализовала мысль о близости неприятельского вторжения.

После того как мужчины выпили кофе и выкурили сигары, они вернулись в гостиную к графине, которая грела ноги у огня. И все-таки она зябла, зябла душой и телом.

Г-н Бутмар первый заговорил об отъезде. Он беспокоился о своих заводах и велел подать коляску в половине десятого под тем предлогом, что не такие теперь времена, чтобы возвращаться поздно. Двое других последовали его примеру и надели сапоги: им предстояло идти по снегу до парома на Сене. Графиня осталась одна.

Она перелистала несколько книг без всякого интереса, с трудом понимая, что читает. Она выбирала у своих любимых поэтов те стихотворения, которые чаще всего приходили ей на память, но теперь и они показались ей банальными, ненужными, бесцветными, и она снова села к огню. Не лечь ли спать? Нет, не сейчас, — она все равно не уснет. Она хорошо знала эти нескончаемые бессонные ночи: они измерялись ударами маятника, которые превращали их в мучительную ночную агонию души и тела.

Она задумалась. В ней пробудились воспоминания о молодости, о прежней жизни, интимные воспоминания, возникающие в унылые часы, признания, которые можно делать только самой себе.

Она вспомнила свое детство, которое прошло здесь, в Дьегдале, в доме родителей, построенном около заводов; вспомнила свою умершую мать, добрую, милую мать. И она заплакала, закрыв глаза руками.

Ее отец, вначале мелкий коммерсант, унаследовавший большой участок земли на берегу Сены и фабрику кислот и искусственного уксуса, в конце концов составил себе крупное состояние как владелец химических заводов. Он женился на дочери офицера Первой империи[4], молодой и красивой, независимой, поэтичной, какими были девушки той эпохи. Немного меланхоличная и к тому же разочарованная в браке, который не вполне соответствовал мечтам ее юности, его жена утешалась любовью к Природе, придавая этому слову смысл, в настоящее время почти забытый.

Она полюбила этот прекрасный лесистый край, эти речные берега, где у самой воды дымились трубы заводов мужа, а по высоким склонам росли величественные леса Румэра, тянувшиеся от Руана до Жюмьежа. Она составила себе библиотеку из романов и книг философов и поэтов, и вся ее жизнь проходила в чтении и размышлениях. Вечером, гуляя в сумерках по берегу Сены, зеленые острова которой заросли тополями, она вполголоса читала для себя, только для себя одной, стихи Шенье[5] и Ламартина. Потом она увлеклась Виктором Гюго и стала обожать Мюссе. Когда у нее появилась дочь, она воспитала ее с пламенной нежностью, усиленной сентиментальным влиянием всей той литературы, которую она впитала.

Девочка росла похожей на мать, очаровательной и умной. В Руане им завидовали и говорили о г-же Бутмар: «Эта женщина достойна всяческого уважения».

Она воспитывала дочь чрезвычайно заботливо, в чем ей помогала гувернантка. Уже в шестнадцать лет девушка казалась маленькой женщиной. Это была брюнетка с голубовато-лиловыми глазами цвета барвинка — оттенок, который так редко встречается.

Душа и зарождающаяся чувственность этой почти взрослой девушки, которой мать позволяла многое читать, развивались одновременно. Иногда девушка потихоньку смотрела книги, не разрешенные ей, и знала уже наизусть некоторые стихотворения, которые казались ей нежными, как благоухание, как звуки музыки, как дуновение ветра.

Эта семья была счастлива или почти что счастлива. Но в одну очень холодную зиму после слишком долгой прогулки в лесу по глубокому снегу г-жа Бутмар слегла, заболев воспалением легких, и через неделю скончалась.

Оставшись вдвоем с дочерью, отец спрашивал себя, что ему делать? Не оставить ли дочь при себе? Ведь иначе он будет чувствовать себя совсем уж покинутым и одиноким в этой деревне среди машин и рабочих.

Его сестра, бездетная вдова инженера путей сообщения, достаточно состоятельная, согласилась на несколько месяцев покинуть Париж, чтобы побыть с ним и тем самым смягчить первые приступы горя и одиночества.

Уравновешенная, как и ее брат, она держалась трезвых взглядов и умела извлекать из любых событий и обстоятельств наибольшую пользу для себя. Уверенная в своем благополучии, спокойная по натуре, она в сорок лет ничего уже больше не требовала от судьбы.

Она скоро полюбила племянницу, и когда Бутмар сказал о своем намерении оставить дочь дома, она сделала все, чтобы разубедить его, говоря, что Жермэна к моменту замужества будет пользоваться большим успехом и потому нужно прежде всего как можно лучше завершить ее образование и воспитание.

А это возможно только в Париже. Жермэна со временем станет блестящей партией, и очень важно, чтобы наряду с серьезными

предмета она знала также музыку, танцы и многое другое, а также богатой девушки. Было решено, что отец поместит ее в хороший пансион, а тетка обещала как можно чаще навещать ее, каждую неделю бывать с ней где-нибудь и даже иногда оставлять ее у себя на несколько дней.

Эта женщина, муж которой занимал видное положение в министерстве общественных работ, овдовев, сохранила большие связи и была хорошо принята в обществе. Ее брат, понимая все выгоды подобного предложения, согласился, и тетка в начале весны увезла племянницу с собою.

Она устроила ее в один из фешенебельных светских пансионатов, где воспитывались сироты благородного происхождения и куда помещали богатых иностранцев, в то время как родители их путешествовали. Там у нее была прелестная комната, собственная горничная и избранные учителя. Кроме того, она посещала вне пансионата курсы для молодых девиц, где встречается и заводит знакомства, полезные для будущего, добрая половина девушек Парижа — дочери буржуа и дворян, и малосостоятельные, и обеспеченные, и очень богатые.

Тетка приезжала за ней, возила ее на прогулки, развлекала, знакомила с Парижем, с его памятниками и музеями.

Глубокая печаль, в которую была погружена Жермэна со времени смерти матери, постепенно начинала исчезать. Ее красивые фиалковые глаза, веки которых часто бывали красны от слез при воспоминании о горячо любимой матери, приобрели прежнюю ясность.

Тем не менее она много думала о своем доме в Дьепдале, об одиноком отце и тосковала по простору, деревне и свободе. Она узнала смутную тоску, которую испытывают люди, в силу своего долга или профессии оторванные от родных мест и запертые в душном городе, все те, чьи глаза, легкие и кожа с раннего детства впитали в себя чистый воздух полей и чьи маленькие ножки бегали по лесным дорогам, по лугам, по свежей прибрежной траве.

Точно так же дети Парижа, вынужденные жить и работать в провинции, страдают всю жизнь, словно от физического лишения, от непреодолимой потребности бродить по тротуарам и большим, многолюдным улицам.

Когда наступили каникулы, Жермэна с радостью уехала в Нормандию и была огорчена, когда осенью ей пришлось вернуться в Париж. Она провела там три зимы: с шестнадцати до девятнадцати лет. Затем г-н Бутмар взял ее к себе, чтобы скрасить свое одиночество вдовца.

Вскоре ему представился случай подумать о замужестве дочери. Он знал ее большую любовь к деревне, где она выросла, и сам в силу своей привязанности к Жермэне, своего эгоизма и избалованности считал удобным и приятным сохранить ее возле себя, особенно если бы к этому представилась возможность.

Обычно он очень легко находил способы для выполнения своих желаний.

Он уже давно знал графа де Бремонталь, своего соседа, владельца замка Дю-Бек в Сауре, напротив Ла-Буйя, всего в нескольких километрах от Дьепдала. Он был знаком с графом по генеральному совету, членами которого они оба состояли; они вместе охотились и поддерживали добрососедские отношения.

Графу было двадцать восемь лет. Родители его умерли, оставив ему большое состояние, заключавшееся в землях; красивый собою, он прекрасно ездил верхом и был страстным охотником. Все его помыслы и желания были направлены к тому, чтобы хорошо управлять своим обширным имением, разводить домашний скот и обрабатывать землю, в чем он и преуспевал благодаря любви к земле, свойственной всем нормандцам. Он обладал немного тяжеловесным, но веселым умом нормандца, изяществом и хорошими манерами дворянина-помещика, умеющего держать себя в любом обществе.

Бутмар стал ухаживать за ним, обворожил его, обласкал, сделался его другом и спутником по охоте и развлечениям. Они часто обедали друг у друга, и когда молодая девушка окончательно вернулась к отцу, она встретила этого приятного соседа, который чувствовал себя у них как дома.

Он произвел на нее отличное впечатление. Она показалась ему очаровательной. Они вместе совершали по лесу длинные прогулки верхом, причем для соблюдения требуемых приличий их всегда сопровождал грум.

Устраивались всевозможные поездки, пикники, деревенские праздники с участием всех наиболее почтенных местных семейств. В конце концов он влюбился в нее, начал за ней ухаживать и вскоре пробудил в ней желание нравиться и побеждать, которое дремлет в сердце каждой молодой девушки. Она стала с ним более любезной, затем кокетливой, и он полюбил ее со всей страстью своей бесхитроной души. Через полгода он попросил ее руки. Отец сообщил об этом Жермэне, и когда она приняла предложение, с радостью дал свое согласие. Это был хороший брак.

Через пять лет у них родился сын. Графиня полюбила ребенка страстной материнской любовью. В ней как бы пробудился могучий инстинкт, о котором она до той поры и не подозревала, инстинкт, заставивший ее желать еще детей.

Особенно хотелось ей иметь дочь, чтобы воспитать ее согласно своим взглядам и вкусам, своему идеалу женщины.

Видя, что желание ее не исполняется, она грустила, волновалась, беспокоилась и, терзаемая этой несбывающейся мечтой, воссылала к небу свои женские мольбы. Своеобразная мистическая набожность заставляла ее звать к деве Марии, покровительнице матерей. Она не молила ее, как молят фанатики, не прибегала к словам и заклинаниям, но обращалась к ней из глубины сердца с нежной и настойчивой молитвой.

Она не была богомольна, не отличалась пламенной верой, так как воспитывалась в семье, где отец относился к религии равнодушно, а мать была почти неверующей. Г-жа Бутмар, родившаяся в эпоху революции[6], великая моральная, философская и религиозная борьба

которой привела к исчезновению во многих семьях старых благочестивых верований, сохранила на всю свою жизнь независимые взгляды, внушенные ей отцом.

Жермэну все же окрестили, и она была у первого причастия, но мать в дальнейшем не внушала ей никаких догматов и никакого стремления к религии.

В парижском пансионе для молодых девушек, где она провела три года после смерти матери и где пополняла свое образование во всех областях, ей преподавали и закон божий наряду с уроками музыки и прочим. Пансионский священник, которому надлежало следить за религиозным воспитанием девушек, был человеком ловким, гибким, настойчивым и властным. Обнаружив неопределенные, неустойчивые верования Жермэны, он с упорством миссионера задался целью обратить ее к вере, но добился этого только наполовину: она уверовала всем своим сердцем и воображением лишь в трогательную христианскую легенду.

Иногда ее охватывали порывы сентиментальной любви и сладостной набожности, обращенные к Спасителю и деве Марии, но обряды никогда не имели для нее значения, и она считала их созданными для простого народа. Правда, она охотно посещала церковь по воскресеньям и выполняла необходимые обязанности как из чувства долга, так и из чувства приличия.

Вот почему деву Марию, мать Христа, она молила послать ей дочь. Ее молитва не была услышана, но внезапно объявленная война 1870 года оказала гораздо большее влияние на исполнение ее желания, чем призывы к небу.

Несмотря на то, что г-н де Бремонталь был свободен от обязательства военной службы, он, как пылкий патриот, при первом же известии о надвигавшейся на Францию опасности пожелал записаться добровольцем и идти на войну.

Жермэна, любившая его без особой страсти, как верная и преданная жена, скорее как мать, чем как женщина, безумно испугалась, что потеряет его: она только того и желала, чтобы прожить всю жизнь с ним и детьми в этом замке, который ей нравился, в этой местности, которую она обожала.

Мысль об опасности, угрожавшей мужу, возможность его смерти, беспокойство, от которого она стала бы страдать во время его отсутствия, побудили ее испробовать все средства, придумать все возможное, чтобы он отказался от своего решения.

Что же она сделала? То, что попробовала бы каждая молодая, красивая женщина: она опять стала любящей и до такой степени утонченно-кокетливой, что он был как бы захвачен новой любовью.

Удерживая мужа, стремившегося к выполнению великого долга, она обрела неожиданно средства обольщения и отдавалась ему со страстью пылкой и влюбленной любовницы.

Никогда еще она не была с ним такой, никогда он не испытывал этого волнующего соблазна, исходящего от нее, этой покоряющей власти поцелуев, которая заставляет все забыть, на все согласиться. Он с удивлением и восхищением наблюдал этот внезапный порыв страсти, охвативший его жену. И, побежденный, он сначала поддался всем ласкам, всем нежностям, всем искушениям любви, которыми она его сковала и пленила.

Но когда отступление французских армий стало неизбежным, когда он узнал об ужасной катастрофе, когда гибель страны стала очевидной, его чувства дворянина и патриота взяли верх над чувствами любовника. Потомок старинных нормандских дворян, унаследовавший их храбрость и предприимчивую отвагу, он понял и почувствовал, что должен показать достойный пример окружающим, и однажды утром внезапно уехал со слезами на глазах и отчаянием в душе.

В течение нескольких недель она получала от мужа письма и узнала, что ему удалось присоединиться к армии генерала Шанзи[7], которая еще сопротивлялась. Потом всякие известия прекратились. Потом она заболела, и в один прекрасный день доктор Патюрель сообщил ей о том, что в другое время было бы для нее величайшей радостью: она должна была снова стать матерью.

О, какие ужасные месяцы она провела! Пять месяцев отчаянной тоски, в течение которых она ничего от него не получала!

Убит он или в плену?

Этот вопрос, все один и тот же, не давал ей покоя ни днем, ни ночью.

И сейчас она опять задавала его себе, медленно прохаживаясь взад и вперед по комнате.

Проходил час за часом, а графиня все еще не решалась подняться наверх. Тоска, еще более острая, чем в другие вечера, и какое-то мрачное предчувствие сжимали ей сердце. Она села, снова встала, задумалась, а затем принесла диванные подушки и устроила себе из большого кресла перед камином нечто вроде постели. Утомленная душой и телом, она решила немного подремать здесь, так как спальня ее пугала.

Ее глаза уже начали смыкаться, мысли цепенеть, и все ее существо погружалось в состояние покоя, как это бывает в полусне. Вдруг странный, незнакомый шум заставил ее вздрогнуть и выпрямиться.

Тяжело дыша, она прислушалась. Это были голоса приближающихся мужчин. Она подбежала к окну и приоткрыла его, чтобы лучше слышать. Она различила топот лошадиных копыт по снегу, бряцание железа, звон сабель. А голоса все приближались, и до нее доносились иностранные слова.

Это они! Пруссаки!

Она бросилась к звонку и стала звонить, звонить изо всех сил, как бьют в набат в минуту опасности. Потом мысль о ребенке, о маленьком

Анри пронзила ее, как пуля, и она бросилась по лестнице в спальню.

Разбуженные, полуодетые слуги сбегались с зажженными свечами: лакей, кучер, горничная, кухарка и няня.

Графиня кричала:

— Пруссаки, пруссаки!!

В то же мгновение сильный стук, похожий на удар тараном, потряс дверь, и грубый голос снаружи выкрикнул по-немецки какое-то приказание, которого никто не понял.

Тогда г-жа де Бремонталь сказала двум старым слугам:

— Спротивляться им нечего, надо избежать насилий. Откройте им поскорей и дайте все, что они потребуют. Я же запрусь у себя с сыном. Если они спросят обо мне, скажите, что я больна и не могу спуститься.

Вторичный удар потряс дверь, и от него задрожал весь замок. Один за другим последовали новые удары. Они раздавались в коридорах, как пушечные выстрелы. Неистовые крики доносились из-за стен; казалось, началась осада.

Графиня вместе с Аннеттой спряталась в детской, в то время как двое мужчин со всех ног бросились открывать захватчикам. Кухарка и горничная, потеряв голову от страха, продолжали стоять на ступеньках лестницы, ожидая дальнейших событий и готовясь бежать в любую открытую дверь.

Когда г-жа де Бремонталь приоткрыла полог кровати Анри, мальчик безмятежно спал: он ничего не слышал. Она разбудила его, но не знала, что сказать, чтобы его не взволновать и не испугать сообщением о прибытии этих негодяев, которые находились внизу с оружием в руках.

Когда под ее поцелуями мальчик открыл глаза, она рассказала ему, что проходившие в этой местности солдаты пришли в замок. И так как ребенок часто слышал разговоры о войне, он спросил:

— Это чужие солдаты, мама?

— Да, дитя мое, чужие.

— Как ты думаешь, они не видели папу?

Она почувствовала болезненный толчок в сердце и ответила:

— Не знаю, мой дорогой.

Вместе с Аннеттой она быстро одевала его во все самое теплое, так как ничего нельзя было ни знать, ни предвидеть.

Удары тарана прекратились. Теперь внутри замка слышались только шумный гул голосов и позвякивание сабель. Это был захват, вторжение в жилище, насилие над святостью очага.

Графиня, прислушиваясь, вздрагивала, и в ней поднималось яростное чувство возмущения, гнева и протеста. В ее доме! Они были в ее доме, эти ненавистные пруссаки, и вели себя полновластными хозяевами, имевшими право даже убить.

Вдруг кто-то постучал к ней в дверь.

— Кто там? — спросила она.

Голос лакея ответил:

— Это я, госпожа графиня.

Она открыла, и слуга вошел.

— Ну, что? — пролепетала она.

— Они хотят, чтобы вы спустились.

— Я не пойду.

— Они сказали, что если хозяйка не захочет, она сами придут за ней.

Она не испугалась. К ней вернулось все ее хладнокровие и смелость отчаявшейся женщины. Это война; ну, что же, она будет вести себя, как мужчина.

— Ответьте им, что они не могут приказывать мне и что я останусь здесь.

Пьер колебался: он видел, что начальник отряда — грубое животное.

Но она так твердо повторила: «Идите», — что он послушался. Она не заперла за ним двери, чтобы не показать, что прячется, и стала с

трепетом ждать.

Вскоре тяжелые шаги, шаги нескольких мужчин, послышались на лестнице, и в дверь вновь постучали. Она спросила:

— Кто тут?

Чужой голос ответил:

— Прусский офицер.

— Войдите, — сказала она.

Вошел высокий молодой человек, поклонился и на хорошем французском языке, почти без акцента, сказал:

— Прошу извинить меня, сударыня, но я выполняю приказание моего начальника, который велел мне привести вас к нему. Я советую вам спуститься добровольно. Это лучшее, что вы можете сделать для себя и для нас.

Минуту она раздумывала:

— Хорошо, я иду с вами.

И, обращаясь к слуге, стоявшему позади офицера, она сказала:

— Возьмите ребенка на руки и идите за мной. Я не хочу с ним разлучаться.

Слуга повиновался и последовал за ней. Она прошла мимо прусского офицера и медленными шагами стала спускаться по лестнице, держась за перила, стесненная своею беременностью. Аннет осталась в комнате одна, до того испуганная, что не могла двинуться с места.

Переступив порог гостиной, графиня увидела человек семь или восемь офицеров, расположившихся здесь как дома; солдаты были расквартированы в деревне. Офицеры курили, развалившись в креслах, разбросав сабли по столам, где лежали книги ее любимых поэтов; двое вестовых охраняли дверь.

Она сразу отличила начальника, стоявшего спиной к камину и отогревавшего поднятую ногу у огня. Он был в фуражке, его лицо, обросшее рыжей бородой, сияло радостью победы и удовольствием от ощущаемого тепла.

Когда она вошла, он, не снимая фуражки, слегка притронулся к козырьку, нагло и небрежно, и сказал с сильным немецким акцентом, отдающим сосисками с капустой.

— Фи фладелица этого замка?

Она стояла перед ним, не ответив на его нахальное приветствие, и сказала «да» таким сухим тоном, что все присутствующие перевели глаза с нее на начальника.

Не обратив на это внимания, он продолжал:

— Сколько фас здесь шеловек?

— У меня двое старых слуг, три женщины и трое батраков.

— Где фаш муж? Что он делает?

Она храбро ответила:

— Он такой же солдат, как и вы, он сражается.

Офицер дерзко возразил:

— Ф таком случае он попежден.

И он грубо захохотал.

Двое или трое из офицеров засмеялись столь же тяжеловесно и на разные лады, в дуге обычной тевтонской веселости. Остальные молчали, внимательно наблюдая за храброй француженкой.

Тогда она сказала, вызывающе и бесстрашно глядя на начальника:

— Сударь, вы не джентльмен, если позволяете себе оскорблять женщину в ее доме.

Последовало долгое, напряженное, страшное молчание. Немецкий солдафон сохранял хладнокровие, продолжая посмеиваться с видом хозяина, который может позволить себе все что угодно.

— Та нет ше, — сказал он. — Фи не у себя, фи у нас. Никто польше не у себя тома фо Франции.

И он опять захохотал с восторгом и уверенностью человека, изрекшего неоспоримую и ошеломляющую истину.

В отчаянии она сказала:

— Насилие еще не есть право. Это — преступление. Вы не больше у себя дома, чем жулик, ограбивший жилище.

В глазах пруссака зажегся гнев.

— А я покажу фам, что это фи не у себя дома. Я фам приказываю покинуть этот том, или я фас выгоню.

При звуке этого злого, грубого и резкого голоса маленький Анри, вначале более удивленный, чем испуганный видом чужих людей, издал пронзительный крик.

Услышав плач ребенка, графиня потеряла голову. Мысль о зверствах, на которые была способна эта солдатня, опасность, которой мог подвергнуться ее дорогой мальчик, внезапно вселили в нее непреодолимое, безумное желание бежать, скрыться в любую деревенскую хижину. Ее гонят. Тем лучше!..

... ..

На этом обрывается начало романа. Сохранился список его предполагаемых персонажей и еще три небольших фрагмента. Список персонажей таков: Морво, Кормюзель, де Ла Шарлери, Шарлери, доктор Наризо, аббат де Праксевиль, Антуан де Пракса, Бремонталь, Курмарен, Ираль, Мармелен, Бутмар, семья и барышни де Серизэ, аббат Марво, доктор Патюрель, перевозчик Пишар, кучер Филипп...

Первый из нижеследующих фрагментов содержит портрет и характеристику того самого доктора Патюреля, о котором отец его в первой главе романа говорит как о человеке, который не закинет в провинции, а станет крупным столичным врачом.

Ред.

... ..

Его лицо своей худобой немного напоминало лица Вольтера и Бонапарта. У него был тонкий заостренный нос с горбинкой, сильно развитые челюсти, выдающиеся около ушей, острый подбородок и светло-серые глаза с черным пятном зрачка посредине; авторитетность его речи и профессиональных приемов внушали всем большое доверие. Он вылечивал людей, давно считавшихся неизлечимыми: ревматиков, деревенских жителей, страдающих неподвижностью суставов, искалеченных сыростью; он вылечивал их гигиеной, питанием и упражнениями, а также порошками, которые возвращали им аппетит. Он лечил старые раны новыми антисептическими средствами и боролся с микробами при помощи новейших способов. Кроме того, когда он пользовал больного, казалось, что он оставлял после себя в доме атмосферу какой-то опрятности. Он добился успеха, его стали приглашать издали, и деньги потекли к нему, так как он знал им цену и устанавливал плату за визит, согласно расстоянию и имущественному положению больного.

... ..

Второй фрагмент посвящен разговору доктора Патюреля (сына) с аббатом Марво возле колясочки, в которой лежит калека Андре, младший сын г-жи де Бремонталь.

Ред.

... ..

— Вы первый врач этого округа... У вас богатство и все что угодно.

— Но, живя здесь, я томлюсь, гублю свою жизнь. Все, что мне дорого и чего я желаю, — всего этого у меня нет. Ах, Париж, Париж!.. Можно ли мне работать здесь для себя, работать для науки? Разве я могу иметь здесь под рукой лаборатории, госпитали, редких больных, все известные и неизвестные миру болезни? Могу ли я производить опыты, делать сообщения, стать членом Академии медицины? Здесь я лишен всего; у меня нет ни будущего, ни развлечений, ни удовольствий, ни женщины, которую я мог бы взять себе в жены или хотя бы полюбить. Ни славы, ничего, ровно ничего, кроме известности в пределах нашей округи. Да, я лечу народ, скупых буржуа, которые платят серебром, иногда золотом, но никак не банковыми билетами. Я лечу ничтожные страдания обыкновенных людей, но никогда не лечу князей, послов, министров, знаменитых людей искусства, исцеление которых получило бы громкую огласку и стало бы известным при иностранных дворах. Одним словом, я лечу и излечиваю в провинциальной глуши отбросы человечества.

Священник слушал его с видом некоторого раздражения и недовольства.

Он произнес:

— Но это, пожалуй, более благородно, более достойно и прекрасно...

Врач с бешенством возразил:

— Я живу не для других, я живу для себя, господин кюре.

Аббат почувствовал, что его душа проповедника возмутилась.

— Христос умер за малых мира сего, — промолвил он.

Врач проворчал:

— Но я-то не Христос, черт возьми! Я доктор Патюрель, экстраординарный профессор медицинского факультета в Париже.

Мысль аббата в одно мгновение пробежала целый круг идей, достигнув почти предела мыслительной способности человека, и, осознав все величие и все ничтожество идеалов, успокоилась. И он заключил:

— Возможно, вы и правы. С вашей точки зрения, истина на вашей стороне. И для вас это единственное благо.

— Еще бы! — воскликнул врач звучным голосом, зазвеневшим в сухом воздухе.

Священник прибавил:

— И все же вы человек великодушный, если остаетесь здесь ради матери.

Доктор вздрогнул: коснулись его раны, его горя, его сокровенных чувств.

— Да, я никогда ее не покину.

Их глаза одновременно остановились на калеке, который напряженно слушал их и прекрасно понимал все, о чем они говорили. Взгляды обоих мужчин, встретившись затем, обменялись невысказанной мыслью о судьбе и будущем этого ребенка, мысленно сравнив его судьбу со своей. Вот кто был истинным страдальцем.

Но мысль о Христе никогда не оставляла аббата. Он возобновил разговор:

— Я благоговею перед Христом.

Врач возразил:

— Господин кюре, с тех пор, как существует этот мир, все боги, порожденные человеческой мыслью, — только чудовища. Разве Вольтер не сказал: «Священное писание утверждает, что бог создал человека по своему образу и подобию, однако человек отплатил ему тем же»?

И он стал приводить доказательства несправедливости, жестокости и злодеяний Провидения. Он прибавил:

— Я как врач бедняков отлично вижу эти злодеяния, я констатирую их каждый день. Так же обстоит и с вами, раз вы лечите их души. Если бы мне пришлось писать книгу — собрание документов по этому поводу, — я озаглавил бы ее «Дело господа бога». И оно было бы ужасным, господин кюре.

Аббат Марво вздохнул.

— Мы не можем проникнуть в эти вопросы и тайны; это за пределами наших умственных возможностей. Я лично не думаю, чтобы я мог постигнуть бога. Он слишком вездесущ и слишком всеобъемлющ для нашего ума. Слово «бог» представляет собою некоторую концепцию и некоторое объяснение, защиту от сомнений, убежище от страха, примирение со смертью, средство против эгоизма. Это формула религиозной фразеологии. Бог — это не просто какое-то определенное божество. Мы, люди, можем любить бога, только если он видим и осязаем. И тот, неведомый, непостижимый, необъятный, не давая нам возможности его познать, сжалившись над нами, послал нам Христа.

Священник взволнованно умолк. Затем, преследуемый все той же единственной мыслью, пробормотал:

— И кто знает? Быть может, Христос так же был обманут богом в возложенной на него миссии, как и мы. Но он сам стал богом для земли, для нашей несчастной земли, для нашей жалкой земли, населенной страдальцами и невеждами. Он бог, наш бог, мой бог, и я люблю его всем моим человеческим сердцем и всей душой священника. О учитель, распятый на Голгофе, я твой сын, твой слуга, я весь принадлежу тебе!

Изумленный врач промолвил:

— Как странно все то, что вы мне говорите.

— Да, — продолжал священник, — Христос, должно быть, тоже жертва бога. Он получил от него ложную миссию — миссию обмануть нас новым религиозным учением. Но божественный посланец выполнил эту миссию так прекрасно, так чудесно, так самоотверженно, так скорбно, с таким невообразимым величием и милосердием, что заменил нам своего вдохновителя. Что означало неопределенное слово «бог» до Христа? Мы, которые ничего не знаем и общаемся с чем-либо только при помощи наших жалких органов восприятия, — можем ли мы благоговеть перед этими буквами, смысл которых нам непонятен, перед этим мрачным богом, которого мы совершенно себе не представляем? Мы не имеем представления ни о его существовании, ни о намерениях, ни о могуществе, известном нам только из одного его опыта, неудачного опыта сотворения земли, этой каторги для душ, мучимых жаждой познания, и для немощных тел. Нет, такого бога мы любить не можем. Но Христос, у которого все его милосердие, все его величие, вся философия, все знание человечества явились неизвестно откуда, кто сам был несчастнейшим из всех несчастных, кто родился в яслях и умер распятым на стволе дерева, — Христос, оставивший нам единственное слово истины, которое должно было стать мудрым утешением для жизни в этой юдоли скорби, — это мой бог, мой бог, которому я принадлежу.

Раздавшийся возле него вздох заставил аббата замолчать. Андре плакал в своем передвижном кресле.

Священник поцеловал его в лоб. Юноша пролепетал:

— Как я люблю вас слушать! Я прекрасно вас понимаю.

И священник ответил.

— Бедный мальчик, тебе от неумолимой судьбы досталась печальная участь. Но я верю, что взамен плотских радостей ты получишь по крайней мере то единственно прекрасное, что доступно человеку, — способность мечтать, мыслить и рассуждать...

... ..

Третий фрагмент представляет собою характеристику бога и, по указанию в издании Конара, по-видимому, отделен от предыдущего текста лишь одной утерянной страницей.

Ред.

... ..

Вечный убийца, он, кажется, с радостью творит для того только, чтобы усладить свою ненасытную, неистовую страсть к убийству, и возобновляет свою работу по истреблению, как только создаст новые существа. Поставщик кладбищ он беспрестанно изготавливает новые трупы и забавляется, разбрасывая снова семена и зародыши жизни, для того чтобы непрерывно удовлетворять свою ненасытную потребность разрушения. Скрытый в пространстве убийца, жаждущий смерти, он создает живые существа, для того чтобы потом уничтожать их, калечить, казнить их всевозможными страданиями, поражать всеми болезнями; он подобен неумолимому разрушителю, который никогда не прекращает свою отвратительную работу. Он придумал холеру, чуму, тиф, микробов, разъедающих человеческое тело, хищных зверей, пожирающих слабых. Однако одни животные не знают об этой жестокости, ибо им неизвестен закон смерти, который тяготеет над ними, так же как и над нами. Лошадь, скачущая в поле на солнце, коза, легко и свободно прыгающая по скалам, преследуемая козлом, который гонится за нею, воркующие на крыше голуби, голубки, целующиеся в листве деревьев, подобно любовникам, которые говорят друг другу нежности, соловей, поющий при луне возле своей самки, что сидит на яйцах, — все они не знают о вечном акте убийства, совершаемого богом, который их создал. Баран, который...

... ..

Примечания

Печатаемые фрагменты романа были впервые опубликованы в журнале «Ревю де Пари» 1 апреля 1895 года.

1 Той ужасной зимы. — Речь идет о зиме 1870—1871 годов, когда шла франко-прусская война, неудачная для французов.

2 Ламартин (1790—1869) — французский поэт-романтик. Его сборник элегий и лирических песен «Поэтические размышления» был издан в 1820 году.

3 Итальянская кампания 1859 года — война, которую Франция вела против Австрии под предлогом освобождения Италии из-под австрийского влияния.

4 Первая империя — период истории Франции с 1804 по 1814 год.

5 Шенье. — По-видимому, речь идет о французском поэте Андре Шенье (1762—1794).

6 В эпоху революции. — Имеется в виду французская буржуазная революция XVIII века.

7 Шанзи (1823—1883) — французский генерал, командовавший в войну 1870—1871 годов одной из армий.